

Сергей Строкань

КОРНЯМИ

ВВЕРХ

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

Сергей Строкань

Корнями вверх

ИП «Центр современной литературы»

Строкань С. В.

Корнями вверх / С. В. Строкань — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-086-0

Новая книга принадлежащего к метареалистической школе 80-х московского поэта Сергея Строканя, рукопись которой получила номинацию Международной поэтической премии Максимилиана Волошина, возвращает современной поэзии вкус к осязаемой зрительной образности и стремление к углубленному мирозерцанию, родственному медитации. Сергей Строкань отстаивает право поэзии остаться веткой-корнем, не погибшим при рекордных минусовых температурах технократической цивилизации. Корнем, устремленным вверх и поднимающимся над облетающими сезонными смыслами внешней оболочки бытия.

ISBN 978-5-91627-086-0

© Строкань С. В.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

Диверсификация художественного производства	7
Батискаф	14
Памятник	14
Торф	15
Индустриальная сказка	19
Супермаркет	20
Ночь	21
Часы	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Строкань Корнями вверх



Сергей Владленович Строкань

Родился 14 сентября 1959 года в городе Новомосковске Днепропетровской области, в 1982 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности – востоковед-филолог. В настоящее время проживает в Москве.

В студенческие годы посещал поэтический семинар Кирилла Ковальджи в журнале «Юность», вместе со старшими товарищами Алексеем Парицковым, Иваном Ждановым, Александром Еременко, Марком Шатуновским, Юрием Арабовым и другими пытаюсь расширить рамки традиционной поэтики средствами еще только заявлявшего о себе метареализма или «метаметафоризма».

В 2010 – 2011 годы – участник клуба поэзии Stella Art Foundation.

Стихи публиковались в журналах «Москва», «Сибирские огни», «Дети Ра», альманахах «День поэзии», коллективных сборниках и антологиях.

Победитель телевизионного поэтического турнира «Стихоборье» (декабрь 1996 года, жюри под председательством Юрия Левитанского).

Автор поэтических книг «Белый свет», «Прощание с зимой» и «Осень, сентябрь, Осирис».
Победитель Международного поэтического конкурса Максимилиана Волошина 2010
года в номинации «При жизни быть не книгой, а тетрадкой».
Член Союза писателей России

Диверсификация художественного производства

В начале 80-х на «студии Ковальджи», в редакции журнала «Юность», чтобы тебя заметили и запомнили, надо было пройти нечто вроде инициации. Здесь доминировали метареалисты – Алексей Парщиков, Иван Жданов, Александр Еременко. Можно было бы назвать другие достаточно известные имена.

Но любая попытка назвать всех заранее обречена на провал. Она равносильна тому, чтобы кого-нибудь не назвать. Молодая неофициальная литература не имела жестких организационных форм. В нее не зачисляли. К ней присоединялись. Не путем заявления о намерении вступить в несуществующие ряды и быть внесенным в отсутствующие списки, а с помощью стихов.

Некто писал стихи, которые признавались стоящими, и становился своим. Не в результате голосования и даже не в кулуарах. Это было больше похоже на свершившийся факт, с которым трудно было не считаться. Если с кем-то можно было не считаться, особо не церемонились. У Сергея Строканя лично для меня такими прошедшими инициацию стихами стал «Урок географии»:

Шара земного измятую рваную карту
Помню распятой на гвоздиках классной доски,
Круглая пыль шевелила губами под партой,
Хлопала дверь, колебавшая материи...

Это стихотворение о ветхой карте мира, которую вешают на доске во время уроков географии, постепенно истлевающей и, наконец, окончательно развалившейся на части и рухнувшей на пол. После чего «уборщица тетка Полина» отправляет ее в мусорное ведро. Можно вообразить себе вызванные этим исполненным символического содержания происшествием хохот и радостные вопли, нарушившие тишину урока, впрочем, оставшиеся за пределами собственно стихотворения.

Рискну утверждать, что литература нашего поколения выросла из прорех школьной дисциплины. Даже, еще точнее, из пассивного школьного непослушания. Хоть к тому времени все мы давно уже отучились в школе. Большинству из нас было прилично за двадцать. А самому старшему – Ивану Жданову – даже чуть-чуть за тридцать. Но десять лет, проведенных в школе, были все еще значительной частью нашей сознательной жизни. А Сергей Строкань вообще был младше многих из нас. К тому же «Урок географии», судя по датировке (1978 г.), и вовсе был им написан в девятнадцать.

Пассивное школьное непослушание не было протестом и вообще какой-либо солидарной формой борьбы с режимом. Это был вдруг помимо и до нашего прямого участия образовавшийся люфт в бескомпромиссном тоталитарном идеологическом прессе. И с бессознательной подростковой восприимчивостью наше поколение ощутило этот люфт, не особо понимая его природу. Просто вдруг стало можно то, что раньше было нельзя.

Сейчас, по прошествии многих лет, стало очевидно, что произойти это могло только в силу катастрофического обрушения гиперреального. Именно его обрушение и есть подлинное содержание «Урока географии». Когда я впервые услышал эти стихи, термин «гиперреальность» еще не был в ходу. А содержание стихотворения могло истолковываться просто и поверхностно, как телячий восторг подростка при виде низверженного атрибута дидактической назидательности и догматизма, символизировавшего все безнадежно архаичное, что только было в окружавшей нас действительности.

Но за истлевшей и распавшейся на куски старой географической картой маячило совсем не символическое, а самое реальное, какое только может быть, разрушение той системы, в которую была встроена наша жизнь. И происходило оно не из-за чьего-то злого умысла или организованного возмущения недовольных масс. Рухнула под собственным весом и до сегодняшнего дня продолжает разрушаться пронизывающая все наше существование, самыми разнообразными способами структурированная гиперреальность. Т.е. рассыпается не только ее архаичная идеологическая версия, которая процветала в нашем многострадальном отечестве, а вообще любое цементирование символического, попытки придать ему конечные формы, где бы и в какой бы своей разновидности это ни проявлялось.

Сегодня мы видим, как везде сплошь и рядом меняется, не успев утвердиться и затвердеть, содержание интеллектуальных парадигм, переиначиваются термины, меняется семантика слов и лексическое наполнение языков. Гиперреальность проиграла соревнование с реальностью. Ее претензии на равноправие и суверенитет оказались беспочвенны. Она непрерывно деградирует. И обветшавшая географическая карта из стихотворения Сергея Строканя – это не просто ее символическое выражение, т.е. символическое выражение символического, что само по себе нонсенс, а плоть от плоти самой расплывающейся по швам гиперреальности.

Разумеется, только намного позже мы прочли об Альфреде Корзибском и его дихотомии карты и местности. Только потом рухнул Советский Союз и распался социалистический лагерь. И все геополитические экспликации *«Урока географии»* стали реальностью:

Шел от Европы бумаги истерзанной запах,
И собирался под горлом в опилковый ком,
Польши отклеился край и тянулся на Запад
Под проникавшим сквозь плотную дверь сквозняком.

И дальше:

Помню, когда у Европы одна половина
Рухнула на пол, не в силах висеть на ребре...

А ведь в 1978-ом еще ничто не предвещало падения Берлинской стены. Но этого и не требовалось. Совсем не эти экспликации делали стихотворение онтологически достоверным, а *«уборищица тетка Полина»*, которая в конце отправляет развалившуюся географическую карту в мусорное ведро. Ее появление и есть прямое безжалостное вторжение реальности в еще недавно претендовавшую на статус истины в последней инстанции гиперреальность. При этом лирический герой, как и весь класс, как преимущественно все поколение, наблюдает за этим из-за своих парт со стороны, т.е. проявляет то самое пассивное непослушание.

Вероятно поэтому никто из моих товарищей не был диссидентом и не испытывал к диссидентству шестидесятников ничего, кроме обыкновенного любопытства. Это позднее концептуалисты увидели смысл в том, чтобы помогать разваливаться гиперреальному. Но метареалистам не представлялось осмысленным помогать разваливаться тому, что и так разваливалось само.

Любая имитация активного участия в помимо нас, даже в нас самих идущем процессе отдавала спекулятивностью и попсой. При этом ведь нельзя же всерьез добиваться полного упразднения гиперреального. Или поставить процесс под контроль с помощью водружения на месте идеологического какого-либо иного специфического дискурса.

Непрерывная эрозия гиперреального не только не контролируется нами, но даже контролирует нас. И ее демиургом становится *«уборищица тетка Полина»*. По крайней мере, это одна из ипостасей этого внешнего по отношению к нам всем полноправного субъекта. Это она при-

глядывает за порядком в пожизненно посещаемой нами школе. Утилизация символического и похороны его отходов в мусорном ведре – это ее рук дело. Это вечная игра непрекращающегося перетекания реального в гиперреальное и обратно. Их одновременное присутствие в любой точке пространства/времени. Вот что является предметом описания для метареалиста.

Примечательно, что первые соотносимые с метареализмом стихи Сергея Строканя были написаны раньше моих. И это при том, что он младше на целых пять лет. Если «Урок географии» датируется 1978-ым, то мои самые ранние стихи, которые я включаю в свои сборники, писались в 1980-ом. Просто я на несколько лет раньше оказался среди метареалистов. И в силу этого мои стихи стали известны прежде его стихов. Этим объясняется сложившаяся ситуация моей не только возрастной, но и мнимой художественной приоритетности.

Но в действительности это ему в пору писать предисловие к моей книге, а не мне к его. В 1978-ом я еще не написал ни одного из получивших признание у моих товарищей стихотворения. Это значит, что с самого начала Сергей Строкань был не только моложе, но и одаренней меня. В более раннем возрасте, чем я, и раньше меня он писал стихи, в профессиональном плане состоятельнее моих.

В эту книгу включены стихотворения 76-го, 78-го, 79-го годов, которые запоминаются искусной метафорической инструментальностью и материализованностью деталей, свидетельствующих о зрелости довольно молодого еще автора. Среди них практически безупречный «Двор»:

Чешуя влажных окон блестела на солнце, как масло,
Зелень хлопала жабрами – так, в двух шагах от Днепра,
Еле вздрагивала и в кошачьих песочницах вязла,
На песке задыхалась огромная рыба двора.

А посреди «рыбы двора» сидел «дядя Вася» – демиург местного масштаба «с неоновым синим лицом» – и забивал козла на дощатом «доминошном столе». Но это только казалось, что это обыкновенное домино. Сочетание его костяшек, как сакральные руны, предопределяло судьбу местных обитателей. Здесь все затянато в один тугий узел. Развернутая метафора «рыбы двора», задыхающейся на прибрежном песке у становящегося погребальной рекой Днепра, по которому «шли суда» и «в гробах уплывали соседи». И хриплый выкрик «рыба» дяди Васи. И костяшки домино, из которых складывается в конце стихотворения «рыбий скелет».

Все это свидетельствует о ранней предрасположенности к профессионализму. Но имеет и обратную сторону медали. Поскольку не только способствует написанию помеченных незаурядной одаренностью стихотворений, но с легкостью вписывает самого автора в институциональную составляющую гиперреальности. Профессионализм и гиперреальность лежат в одной плоскости. Корреляция профессионализма и символического обмена очевидна. И эта корреляция продельвает с Сергеем Строканем одну из своих классических разводов.

Будучи родом из провинциального украинского города, он поступает в ИСАА – один из престижнейших отечественных столичных вузов, с успехом заканчивает его и получает назначение на работу в Шри-Ланку. Поездка на работу за границу для граждан нашей страны была одной из самых заманчивых привилегий. Тем более, Индия – это еще одна, помимо поэтики, неформальная увлеченность Сергея Строканя. Таким образом, благосклонное, но стремительно ветшающее и шамкающее отечественное гиперреальное на несколько лет вырывает его из актуального литпроцесса.

Этот отрыв сперва не особо сильно сказывается на нем. Он наносит ущерб обороту его имени в литсреде, но не качеству его поэтического письма. Одно из самых любимых мной стихотворений Сергея Строканя инспирировано отдаленностью от «прародины»:

Незаметно распустились листики,
Почерневшие кусты-великомученики
Шли с прародины к тебе – и добрались-таки —
Расцвела черемуха у мусорника.
Расцвела – глядишь, полжизни миновало,
Встань лицом в бело-зеленый холод,
Выйди к Стиксу, что берет начало
У печей завода Серп и Молот.
Есть в подкорке темная химера —
Сталевар, пылающий в геенне,
И подспудный цвет, блее мела,
Заглушивший тварный дух гниенья.
Жизнь проходит стороной советской,
Огнедышит небо Первомая,
Смерть стоит в руках с цветущей веткой
Или медленно схожу с ума я.

И было отчего сойти с ума. Из своей зарубежной командировки Сергей Строкань и впрямь возвращается к берегам вырвавшегося из подземного царства Стикса, разделившего ту страну, из которой он уезжал, с той, в которую ей предстояло долго и мучительно превращаться. Все, предсказанное в «Уроке географии», сбылось. Заговоренность реальности символическим навсегда осталась на том берегу, вместе со свергнутыми с постаментов неуклюжими истуканами, когда-то пугавшими нас своей хтонической авторитетностью, но, в конце концов, прирученными нашим проведенным среди них детством. А вместо них наружу выплескиваются хаос и разорение первобытия.

Но и тут профессионализм Сергея Строканя не оставил его на произвол судьбы. Он обеспечил ему востребованность и той стремительно мутирующей институциональностью, которая соответствует хаотизации гиперреальности в эпоху бурных перемен. Сначала его берут в либеральные «Итоги». А после их рейдерского захвата он уходит в «Коммерсант». Систематическое консервативное образование номенклатурного вуза пользуется спросом даже у самых отъявленных либералов.

Это трудное время, когда надо выживать. Кормить семью, ставить на ноги детей. А для этого ежедневно писать статьи-однодневки для прожорливой прессы. То есть сжигать себя в самом собой исчерпывающемся символическом обмене.

Профпригодность не только способствует выживанию. Она еще становится почти непреодолимым препятствием на пути к самореализации, если ты не связываешь самореализацию с растиражированностью и трескучей известностью, а испытываешь тягу к затратным занятиям поэтикой, на которую попросту не остается времени. И все это сопровождается чувством, как песок сквозь пальцы, напрасно уходящего времени. Вот где в полной мере дает о себе знать разводка профессионализма.

Возможно, это одна из причин, почему Сергей Строкань чувствует себя не совсем своим даже внутри того спектра институциональности, который обеспечивает ему средства к существованию. И даже видит себя его жертвой:

Как цепок, однако, сей град
пустомель, сумасбродов, сутяг,
сей град властолюбцев, громадой своей
не похожий совсем на хрустальную Ниццу.
Застрянешь в его почерневших от крови когтях —

как мелкий грызун, остановленный хищною птицей.
Могучие крылья раскрыл кривоклювый гранит,
тяжелую тенью расплющив легко полуночные строфы,
о, как я ошибся, поверив, что он никогда не взлетит —
он взмыл над землей, и зияющий страх катастрофы
нутро обрывает – вот так скорлупу покидает
сырое яйцо,
ломается мертвая кость или бьется стеклянная тара —
земля, разрастаясь в подробностях страшных,
несется в лицо,
я падаю, но никогда не услышу удара...

Кто остался жив в 90-х, а потом в нулевых, – *«не услышал удара»*. Но так было далеко не со всеми. Литературный ландшафт стремительно менялся. Перестали писать Александр Еременко и Иван Жданов, умер Алексей Парщиков. А еще раньше не стало Нины Искренко. Этот список тоже можно было бы продолжить многими достаточно известными именами. И лирический герой стихотворения *«Супермаркет»* бродит, как в морге, среди прилавков, на которых выложены товары, отдающие мертвечиной:

Если пища мертва, то ее неприступны останки,
тронешь сэндвич холодный глазами – и ты уже сыт,
в перерезанном горле безжизненной белой буханки,
словно твердая кровь, застревает полоска сухой колбасы.

Узкогорлая ваза, в которой задушены тихо
побеги восторга,
пересеянной влагой давно подавила восстание слюны,
чтобы ты холодел у витрин продуктового морга,
подбирая покойника с яркою биркой цены.

Если эти хлеба рождены не божественным жестом,
и элитные вина не взмах над пустыней пролил,
то тебе не уйти от суфлера сферической жести,
от нелетного времени с тяжестью свинченных крыл.

Какую же цель может преследовать автор, обремененный *«тяжестью свинченных крыл»*, если большую часть творческого потенциала пожирает непроглядная утилитарность профессиональной деятельности? Что, помимо привычки, может стоять за многолетней потребностью писать стихи? Не часто, от случая к случаю. Теряя свои позиции в общем художественном производстве, но сохраняя при этом ностальгию и потребность участия в таковом и этим создавая себе проблемы в плане профессиональной идентичности.

Является ли это только противоречием и неизжитым рудиментом юношеского романтизма. Или же в этом есть своя конкретная стратегия. Может быть, не та, которую некто программирует и выстраивает для себя, а которая сама программирует и выстраивает его литературную судьбу.

Трудно не согласиться, что современная литература как составляющая всей деградирующей гиперреальности больше не способна претендовать на управление собственными процессами. Дело даже не в том, что изменился ее ландшафт. Но, что гораздо существенней, само ее место в окружающей действительности скукожилось до минимума.

Ограничившись одним производством, она замкнулась внутри чисто символического обмена, тогда как ее потребление продолжает редуцироваться, сжимаясь как шагреновая кожа. Авторы пишут для нескольких критиков и считанных товарищей по цеху и при этом даже среди них современная художественная продукция неуклонно теряет спрос. Она все больше похожа на устаревшее отсталое предприятие, продолжающее по инерции выпускать низко-технологичную продукцию в условиях отсутствующего рынка, способного обеспечить ей сбыт. Ей требуется диверсификация.

И долгие паузы в написании стихотворений, возможно, как раз являются следствием такой диверсификации. Средством аккумуляции ресурсов, когда количественные показатели теряют существенную значимость. Тогда выпадение из тусовочного литературного оборота и подчинение себя находящейся несколько в стороне от него профессиональной деятельности – это форма социальной аскезы или монашества в миру как вывернутого наизнанку ухода в поэтическую пустыню. Уход в пустыню или затвор – это тоже своего рода христианская диверсификация.

В этой книге можно найти следы процесса подспудной, не осознанно планируемой, во многом чисто интуитивной творческой диверсификации. Поиски решения методом проб и ошибок. Эксперименты с верлибром и стихотворения, пышущие злобой дня. Но внимательный читатель без труда обнаружит, что центр тяжести в ней смещен в сторону метареализма с его тяготением к высокотехнологичной емкой поэтике.

Этим объясняется выдвигание почти в самое начало книги совсем недавнего цикла стихотворений «Торф», посвященного Алексею Парщикову:

Оставив жене отражения Южной Европы,
И розы, и рыб отстраненного острова Корфу,
Я словно раздвинул сомкнувший гранит
Евразийский некрополь —
И выпал из офиса в зону горящего торфа.

Где самосожженье лесов среди рвов оборонных
Порушило почву до всех потайных
Корневых сочетаний,
И в марево дня погружаясь, как кубик бульонный,
Я слился со смогом, утратив свои очертанья.

Меж тем, город масочный тихо отпрянул и сник,
Как врач, что накинул простынку на твердое тело,
И холод был жаром,
Когда изнутри выгоравший тайник
Открыл мне другое, от августа скрытое лето.

В нем всадники дыма летели, не чуя земли,
Щиты разверстав и настроив сверхточные пики,
И падали в небо, как будто услышав команду «Замри!»
Но в этом чистилище
Вдох был подобием пытки.

Здесь появляется иного прядка демиург нежели «уборщица тетка Полина» и забивающий козла «дядя Вася» – эти низовые персонажи, чья минимальная социальная вовлеченность редуцирует их участие в гиперреальном до его утилизации. Теперь демиургом становится

вообще стихийное бедствие – торфяные пожары, затянувшие в 2010-ом небо над Москвой. Т.е. демиургом становится то, что вообще приходит извне символического обмена и находится за пределами гиперреального. А, значит, утилизации подлежит уже производство в целом.

И понятно почему. С некоторых пор не справляющаяся со своими функциями гиперреальность больше не желает зависеть от своего соответствия реальности и требует, чтоб реальность сама обеспечивала состоятельность ее дефиниций. А если реальность почему-либо этого не делает, она просто отмахивается от нее и начинает существовать в качестве деморализованных симулякров. Вот тогда либералов можно называть фашистами, а минимальное госрегулирование – рецидивами тоталитаризма. Означаемое перестает быть названным. И перед нами снова открывается «неописанная вселенная», которую разве что «описал поднявший лапу сен-бернар».

Когда символический обмен больше не привязан к реальности в той необходимой степени, которая делает его действенным и продуктивным, остается только выйти за пределы собственно символического обмена. И этим возвратить его из чисто ритуального состояния назад – в реальность, на свой страх и риск, под собственную ответственность, ценой собственной жизни, пусть даже за счет экономически невыгодного и недостаточно регулярного индивидуального художественного производства.

Марк Шатуновский

Батискаф

Памятник

На бульваре, где цедит обыденность пьяненький Хронос,
засыпая, когда тишину не царапают струнами барды,
я увидел, как памятник лег на распластанный голос,
и, как тайные жабры, раздул на ветру бакенбарды.

Это был тихий классик, окислившийся и на отдых
в тень отравленных лип
удалившийся
от пересортицы дивных звучаний.
Гений плавал в стихиях, он вел
безмятежную жизнь земноводных
между жизнью земных,
словно слов, что лишились своих окончаний.

Между грушами околоченными и яблоками глазными
страх качал погремушку в руке пожилого ребенка,
и влюбленные пары росли вкривь и вкось, а над ними
голос свыше натянут был, как парниковая пленка.

И когда он изрек, что на землю обрушится кара,
стало как-то неловко, что эти слова
не записаны будут в анналы,
набухала сирень, на скамейке компания шумно бухала,
очень пахло весной, и от рук сардинеллой воняло.

Вот, казалось бы, хочешь свободы – порви целлофан,
и лети себе в небо, как будто травы покурил,
только родина-водка, нашедшая пластиковый стакан,
подставляет подножку и топит цитату в беспамятстве рыл.

Не калмык и не русский, не эллин и не иудей,
а бесхвостый метис был тем самым потомком
на сонном бульваре.
Люди ели и пили, любили и ели —
чего можно ждать от людей,
люди к гению шли и, в поклоне склонившись,
его облевали.

Торф

Алексею Парщикову

I

Оставив жене отражения Южной Европы,
и розы, и рыб отстраненного острова Корфу,
я словно раздвинул сомкнувший гранит
евразийский некрополь —
и выпал из офиса в зону горящего торфа.

Где самосожженье лесов среди рвов оборонных
порушило почву до всех потайных
корневых сочетаний,
и в марево дня погружаясь, как кубик бульонный,
я слился со смогом, утратив свои очертанья.

Меж тем, город масочный тихо отпрянул и сник,
как врач, что накинул простынку на твердое тело,
и холод был жаром,
когда изнутри выгоравший тайник
открыл мне другое, от августа скрытое лето.

В нем всадники дыма летели, не чуя земли,
щиты разверстав и настроив сверхточные пики,
и падали в небо, как будто услышав команду «Замри!»
Но в этом чистилище
вдох был подобием пытки.

Стояло болото, в котором бродил допетровский карась,
и в дно зарывался, презрев государево око,
но газ округлялся,
и множилась времени тухлая связь,
где, точно заточка державы, звенела осока.

Зачем мы так оберегаем свою нишу?
Зачем уходим в огнеборческие рвы?
В потоке зрения я сам себя не вижу —
я вижу смерть на острие травы.

Вот так вместе с розами недр
приближалась расплата,
и не было врат, были просто сварные ворота

в коттеджный поселок, откуда уже не бывает возврата.

И здесь я узнал, что нельзя победить торфяное болото!

II

А рядом столы расставляет гламурная улица,
как белое с красным,
здесь тянутся Кафка и Пруст,
и плещет над публикой море незримого укуса,
которым омыты дрожащие устрицы уст.

Ведь им никогда не дано прокричать на просторе, и
смогом застигнута,
стеклопакеты задраила прорва,
где жир застывает на грязном сервисе истории,
а вместо десерта – разносят куски шоколадного торфа.

И все-таки, сколько персон уместится в печи,
в тылу помутненного микрочастицами зренья?
Узнаешь не раньше,
чем воздух свое отгорчит,
когда за кремацией будет сплошной день рождения.

Пока же – хранит герметичность державный прием,
где в вакууме аутентичны слепцы и кретины,
где те, что остались снаружи,
ныряют в проем —
в провал многомерной, состаренной гарью картины.

А в центре картины трясина сидит на цепи
и бредит свободой и холодом чистой Аляски,
пока у нее выгорает нутро,
и воронка хрипит,
и варится воздух, в котором спекаются краски.

В конце от Земли не останется даже огарка,
и колбой от термоса
станет полет пустотелого шара,
узнавшего то, что небесного нет олигарха,
который купил бы тебе полотно торфяного пожара.

III

Тем временем тебя уносят небеса.

Ты в Кельне. Или же в окрестностях Лозанны,
где, точно сонные ноябрьские леса,
все осыпаются в кофейнях круассаны.

И ни одной гадильницы одной шестой.
Лишь метафизика шести шестых и остального.
И не суглинок пляшет под ногой —
а несгораемая простирается основа.

Разноформатные сосуды пустоты
здесь тяжелей снарядов фитнес-клуба.
Они овеществляют бытие, и ты
Сдвигаешь жестом их на центр куба.

Под ним лежит краеугольное пространство сна,
неподконтрольное ни ветру, ни пожарам,
и не описана вселенная. Она
описана поднявшим лапу сенбернаром.

Он роз азоровых амбре несет на лапах,
перелетая поле битв и катастроф,
но вдруг – все тот же характерный запах.
Откуда здесь?! Проклятье – это торф!

Так, значит, топи не имеют края,
и бесполезны все разомкнутые звенья.
Как занавеску, широту отодвигая,
не убежишь от собственного подземелья.

И речь, подобная часам или машине,
точно гибридный двигатель, мгновенно стихнет,
и будет незачем тереть кадык вершине —
ведь смог отечества и здесь тебя настигнет!

IV

Я видел ангела. Шахтерский город Лихов
он облетел минут за пять и был таков.
В толпе зевак среди шажков, подскоков, приговов
ты демонстрировал нам технику прыжков.

А в воздухе росли проценты яда,
мы им дышали и как будто кайфовали,
искомой розе с царским именем «троянда»
вживляя ген мерцающей кефали.

Чтоб роза выпренная в море не тонула,

фильтруя жабрами соленый спич приборя,
как водолазы, горняки брели понуро,
всплывая на поверхность их запоя.

И – след от ангела – по небу плыл вопрос:
когда мартен сравним с вратами ада,
чем меж собою схожи торф и кокс?

Тем, что тепло не отдают без чада.

Над теми, кто ушел, лишь дымка реет —
как сцепки мрака или пейсы равви.
Донбасс пустот отравит и согреет,
а торф, как тора, нас согреет и отравит.

Вот так пространство обретает форму груши
для тех, кого ведет Сусанин-водка.
А тем, кто трезвый, вынимает души
самокопанье. Торфоразработка.

Индустриальная сказка

За автостоянкой – бессвязный пустырь с лебедою,
куски расчлененных машин, что свое отлетали.
Мерцающий дождик покроев их мертвой водою,
как в сказке срастутся они,
но задышат едва ли.
Плывут облака, вглубь земли направляя ветрила,
покуда варяги вонзают лопаты в ее пуповину.
Копают траншею, как будто копают могилу,
и бритвою почвы фигуры их срезаны
наполовину.
Дыша перегаром в лицо богомерзкого века,
в котором жучки отпевают движки, повисая над бездной,
они погружаются в небо без низа и верха —
трава-лебеда станет их
лебединою песней.
И было бы можно цепляться за них,
продлевая кусты,
но только гробокопателя труд здесь почетней давно,
чем любая заслуга,
но только иной – соразмерный с дыханьем пустырь
лежит средоточьем
свободы и мертвого духа...

1999

Супермаркет

Марку Шатуновскому

Если пища мертва, то ее неприступны останки,
тронешь сэндвич холодный глазами – и ты уже сыт,
в перерезанном горле безжизненной белой буханки,
словно твердая кровь, застревает полоска сухой колбасы.

Узкогорлая ваза, в которой задушены тихо побег восторга,
пересеянной влагой давно подавила восстание слюны,
чтобы ты холодел у витрин продуктового морга,
подбирая покойника с яркою биркой цены.

Если эти хлеба рождены не божественным жестом
и элитные вина не взмах над пустыней пролил,
то тебе не уйти от суфлера сферической жести,
от нелетного времени с тяжестью свинченных крыл.

Между спущенным облаком и нависающей карой господней,
затянувший удавку на горле слепой пустоты,
супермаркет петляет, как длинный туннель к преисподней,
ты идешь по нему, ты совсем поседел и твой сэндвич остыл,

И, пожалуй, один лишь язык не утратил свободу,
только вздыбить его, если рот не закрыть на замок —
все равно, что с разбегу нырнуть в зеркала, а не в воду,
или с места рвануть – и себе наступить на шнурок.

Значит, будет пуста усыпальница в льдистом кристалле,
где когда-то зрел бунт, а сейчас безмятежно течет бытие...
То ли рожь, то ли ржа прикипает к заоблачной стали,
что, как черствую булку, разрежала горло твое.

Ночь

I

В такую ночь, когда звезде тебя не видно,
раздвинув кости интерьерного бамбука,
ты в страшной духоте откроешь Windows
дышать у синей проруби ноутбука.

Пусть, как на кладбище, на книжной полке тесно,
зато в сети просторно, как в астрале,
здесь плавают расслабленные тексты,
что рыбами непугаными стали,

и, чем плотнее тьма, тем ночь безбрежней,
ты послан средь морей и гор условных
освоить их язык, забыв свой прежний,
мерцая на манер холоднокровных.

II

Язык со временем дает усушку и усадку,
и вот лапшу зовут английским словом poodle
писатели неробского десятка,
которых бес, точнее, текст попутал.

Что буржуазно – вовсе не антинародно,
коты Британии внушают львам Цейлона,
и вот опять литература – это модно,
и лоск салонности – как блеск автосалона.

А правит кошками компьютерная мышка,
консервы речи вырываются из жести,
ложась в коробочку десятидолларовой книжки
мышешуршания полночных путешествий.

Герой, всплывающий, допустим, в замке Мальты
со дна ущелья русской летаргии,
и страсть, отпущенная нам, как мегабайты,
за кликом клик сплелись в ее драматургии.

Телеведущая с глазами одалиски
и хор топ-менеджеров, что косят под микки-рурков,

им хватит места всем на жестком диске
у тех, кто весело играет в демиургов.

Так, уступая право на звучание,
румянцу глянца, что рожден листать в полетах,
обречено хранит обет молчания
бессмертие в угасших переплетах.

Часы

Два шарика воздушных на весах
качаются над полночью мышиною...
Пробило полночь – стрелки на часах
налипли вертикальною морщиной.

Уже двенадцать – время объявить,
какой из двух шаров – наилегчайший,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.